

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Я, Терюхов Дмитрий Андреевич родился 1 ноября 1901 года в селе Далматово Шадринского уезда /ныне город Далматово Курганской области/ в бедняцкой крестьянской семье.

Один из моих пращуров Фёдор Васильевич, как сказано в одном их архивных документов, "города Устюга, Вандакурской волости, уссовой деревни государственный крестьянин" прибыл в Зауралье, на земли Далматова монастыря, по доброй воле" в ~~хороших~~ 1706 году.

Его сын-мой прадед Иван Фёдорович, по семейным преданиям, был каменщиком и строил в 60-70-х годах 18 века западную монастырскую /некрепостную/ стену и монашеские кельи у южной крепостной стены. В 20-х годах в Шадринском архиве я установил, что он действительно значится каменщиком в числе многих далматовских крестьян, слушавших объявление какого-то указа Екатерины II.

Мой прадед Пётр Иванович был в Далматово сельским писарем и имел крестьянское хозяйство. Из наших семейных преданий мне было известно, что далматовские крестьяне его пытались утопить в реке Исети за утаивание от них какой-то царской грамоты. Помня это со своего раннего детства, я, уже будучи взрослым, после окончания гражданской войны, попытался названный выше факт проверить. Как я установил по опубликованным в 19 веке в печати трудам Зырянова А.Н. /1830-1884 г.г./ этот факт подтвердился. Действительно, волостного голову Иванчикова, сельского старшину Дегтярёва и сельского писаря Терюхова крестьяне 25 апреля 1842 года жестоко избили, порвали на них форменную одежду, - кафтаны с галунами и светлыми пуговицами, - и повели к реке и пытать холодной водой". За то, что они утаивали от крестьян "указ за высочайшим подписом, на трёхрублёвом гербовом листе" об отчислении их - далматовских государственных крестьян -

под власть помещика. В действительности же никакого указа не существовало, был только злонамеренный слух.

О деде Алексее Петровиче я знаю только из рассказов моего отца, что он не пил, не курил, нецензурно не ругался, круглую зиму ходил и ездил без головного убора, был зажиточным крестьянином, но батраков не держал, имел четырёх сыновей и трёх дочерей, умер 85 лет.

Мой отец Андрей Алексеевич — отставной унтер-офицер лейб-гвардии, участник русско-турецкой войны 1877-1878 г.г., награждённый медалью с надписью "За храбрость". После более чем десятилетней военной службы занимался хлебопашеством, малярным и кровельным ремеслом.

Моя мать Анастасия Кирилловна, урождённая Новосёлова, дочь крестьянина-кузнеца, была моложе моего отца на 25 лет и оставалась всю жизнь неграмотной.

Несмотря на большую разницу в возрасте, отец и мать жили дружно. Воспитывали нас — четырёх братьев и одну сестру — в разумной требовательности. Приучали нас к повседневному труду с пяти-шестилетнего возраста, показывая нам личный пример трудолюбия и высокой нравственности.

На восьмом году своей жизни я был отдан на весенне-полевые работы в одно средняцкое крестьянское хозяйство, имевшее трёх рабочих лошадей / у отца в то время была одна лошадь/. Более месяца я работал только за то, что меня кормили и давали мне зипун, как рабочую одежду.

Следующей весной я был отдан родителями внаймы уже настоящему: на два месяца /май и июнь/ за один пуд муки в кулацкое хозяйство, имевшее восемь рабочих лошадей, содержавшее в весенне-летний период батраков-трёх взрослых и одного подростка.

Рабочий день в этом хозяйстве во время посевной и вспашки паров длился для нас батраков 17-18 часов, не считая двухчасового перерыва в середине дня на кормление, водопой лошадей и наш обед. Спали мы не более четырёх часов в сутки.

Начинали мы работу в 4 часа утра и работали натошак до 8 часов. В 8 часов делали остановку в работе на 5-10 минут и там же на пашне завтракали — одним куском хлеба всухомятку, даже без воды. После этого "завтрака" продолжали работу до середины дня.

Обедали всегда ухой из сушёных карасей и шнённой кашей с минимальной дозой конопляного масла. Ужинали после окончания работы около 23 часов, только одной шнённой кашей, при свете костра. Чаю ни в обед, ни в ужин не полагалось.

В воскресенье работать считалось "грешно". Ввиду этого в субботу вечером мы приезжали домой. Если в это время не было поста, то вечером на ужин нам давали молочную пищу, а на обед в воскресенье — мясную. После воскресного обеда мы уезжали в поле. Опять на неделю.

После появления зелёного подножного корма для лошадей, я, после субботнего ужина, уезжал со всем хозяйским табуном лошадей в ночное. Возвращался оттуда к воскресному обеду.

Из заработанной мною муки моя мать испекла хлеб. И попробовав его, заплакала. Мука оказалась затхлой. Весь пуд муки достался нашей корове в пойло.

После этого меня родители отдавали на весенне-полевые работы только в средняцкие хозяйства. Там и рабочий день был несколько короче, и не заставляли работать натошак.

К концу июня спрос на малолетних батраков обычно кончался, но возникал спрос на малолетних же пастухов. Это вызывалось тем, что в конце июня — начале июля появляется массовый вылет овода

Коровы, спасаясь днём от него, в это время плохо кормятся. И для того, чтобы насытиться остаются на ночь на пастбище, домой самостоятельно не приходят. Поэтому у меня, начиная с семилетнего возраста и кончая двенадцатилетнего, так и повелось: в мае-июне я батрачил; в июле и августе пас коров большинства жителей нашей улицы /ныне улица Маяковского/.

Пастьба коров была, пожалуй, делом более трудным нежели работа у кулака. Там во время пахоты или бороньбы я сидел в удобном седле на прекрасной лошади. А при пастьбе коров только до пастбища и обратно приходилось шагать за стадом более десятка вёрст, не считая повседневной беготни за коровами в течение всего дня. Особенно много беготни было в июле, когда коровы, подняв вверх свои хвосты, разбегались от овода во все стороны. Да и продолжительность рабочего дня была также большая. Выгонял я стадо перед восходом солнца, пригонял домой в вечерних сумерках. В том числе и в воскресения и в другие праздничные дни.

На тринадцатом году я уже не батрачил и не пас коров, а начал работать в хозяйстве отца. К этому времени у него было уже две рабочих лошади. Выполнял я тогда все крестьянские работы, которые впору выполнять взрослым заправым мужчинам.

В трёхклассную начальную земскую школу я поступил осенью в 1909 году. Окончил её весной в 1912 году с "похвальным листом".

В августе 1912 года я по предложению педагогов держал и выдержал вступительные экзамены в Далматовское городское училище, переименование вскоре в высшее начальное. Все четыре года я в нём учился "на казённый счёт" не платил 4 рубля в год "за право учения", получал почти все учебники бесплатно; получил бесплатно, будучи уже в 3 классе материал на форменную одежду. Только при этих условиях мой отец дал согласие отдать меня в это училище.

После окончания высшего начального училища в 1916 году, я осенью того же года по своей инициативе поступил в Далматовскую почтово-телеграфную кантору для обучения специальности надсмотрщика телеграфа. Зимой 1916-1917 года проходил практическое и теоретическое обучение в стенах канторы. Всё лето 1917 года в составе рабочей артели проходил практику по ремонту воздушной телеграфной линии: Билимбай-Ревда-Атиг-Нижние Серги-нязепетровск-Верхний Уфалей-Кыштым. Как и полагалось, я практически выполнил в установленной последовательности все виды работ в срок. Например, в течение двух недель копал ямы для новых телеграфных столбов; две недели работал столбоставом и т.д.

В конце 1917 года в г.Екатеринбурге /ныне Свердловск/ при телефонной и почтовой канторах я выдержал экзамен на надсмотрщика телеграфа. Поскольку процедура назначения на эту должность была очень длительной, в ожидании назначения я работал в хозяйстве отца.

Услышав перед рассветом 11 июля 1918 года ружейную стрельбу на станции Далматово, я прибежал туда и заявил первому же встречному красноармейцу о своём желании участвовать в бою. Мне тут же дали винтовку и патроны и поставили задачу: лежать в канаве между железной дорогой и ветеринарной лечебницей и наблюдать за выходами из Сухого Лога. В случае появления противника немедленно сообщить. Противник в секторе моего наблюдения так и не появился и я видел почти весь решающий этап боя.

После окончания боя А.С.Устинов назначил Фому Старцева, Николая Бормотова и меня в Мадьярский отряд. В составе этого отряда мы переехали поездом на станцию Катайск и в течение суток занимали оборону на Банном Логу. На другие сутки по нашей просьбе нас перевели в 4-ю роту 4 Уральского стрелкового полка.

В мадыарском отряде нам нести службу было крайне трудно. Только один из венгров кое-как умел говорить с нами по-русски.

В должности рядового красноармейца 4 роты 4-го Уральского стрелкового полка непрерывно участвовал в походах и боях до 6 ноября 1918 года. В том числе принимал участие во всех сражениях под сёлами Ирбитские вершины и Егоршино, под деревнями Ёлкиной и Таушканы и под городом Цикний Тагил.

В августе 1918 года под Егоршино был тяжело контужен белогвардейским снарядом, разорвавшимся на бруствере моего одиночного окопа. Видя, что я лежу в полузащипанной землёй окопе более 3 часов, не подавая никаких признаков жизни, ротный санитар стал извлекать мой "труп" из окопа для доставки в уже подготовленную братскую могилу. Извлекая меня за кисть руки, он совершенно случайно обернулся /как он мне сам потом рассказывал/ у меня пульс. И благодаря только этой случайности я не был похоронен заживо.

Эта контузия приносила и приносит мне доныне многие неприятности. В частности до 39-летнего возраста у меня иногда тряслась голова. По этой причине я не мог вовремя жениться и обзавестись семьёй, так как каждая моя возможная невеста, заметив мой недостаток, со мной всякие отношения прерывала. "Придирались" ко мне и врачи во время частых и неизбежных на военной службе медицинских осмотров. Меня неоднократно пытались уволить с военной службы "по чистой". Хорошо, что мои начальники, от которых зависело окончательное решение — уволить меня или оставить служить — руководствовались принципом "за битого двух небитых дают". Из-за этой контузии я и ныне сплю, держа голову не на подушке, а рядом с ней. Все эти и другие не перечисленные мной здесь неприятности вызываются тем, что ударной волной от взрыва белогвардейского снаряда был повреждён мой шейный позвонок. Он и данные при некоторых положениях моей шеи и головы, ущемляет левую сонную артерию,

этим самым затрудняя мозговое кровообращение.

6 ноября 1918 года в городе Кушве мне объявили об откомандировании меня из полка в г. Пермь, как имеющего специальность надсмотрщика телеграфа, на укомплектование формируемого там отдельного батальона связи 29 стрелковой дивизии, в которую входил наш полк. При этом меня не спросили - желаю ли я уходить из полка, ставшего мне почти родным домом.

В полку я был принят в группу сочувствующих РСДРП /б/. Состояв в группе сочувствующих, я исполнял обязанности технического секретаря ротной ячейки РСДРП/б/ и носил в своём вещевом мешке всю нехитрую документацию ячейки.

В конце октября 1918 года я был принят кандидатом в члены ВКП/б/. и, признаюсь, всерьёз этим гордился.

Утром 7 ноября 1918 года на станции Гороблагодатская наш полк, Полк Красных Орлов и Путиловский кавалерийский полк начали строиться для парада. А я сидел в это время в поезде, уходящий в Пермь, парада я уже не видел.

В ночь с 24 по 25 декабря 1918 года я в числе /хорошо не знаю, не считал/ 15-30 человек, поступивших на укомплектование батальона в течение ноября и декабря, был взят в плен колчаковцами. Взяли нас перед рассветом спящими. Поскольку у нас не было оружия и никакого имущества, то спали мы без всякой охраны, закрыв входную дверь на засов.

Незвизрая на то, что мы никакого сопротивления не оказывали, а большая часть людей нашей команды были только мобилизованы и ещё были в своей домашней одежде, пьяный вздраг офицер, построив всех нас в одну шеренгу на тратуаре, начал каждого из нас, начиная с правого фланга, допрашивать. Каждому он задавал одни и те же вопросы: мобилизованный или доброволец, коммунист или беспартийный.

Так как все, кроме меня, были мобилизованы и беспартийные, то они правдиво ему и отвечали. Однако, несмотря на такие ответы, он каждого из опрошенных, истерично ругая и грязно, по-площадному, ругаясь, начал бить нагайкой по голове и плечам. И бил до того, пока избиваемый не падал. Ударив и пнув ногой несколько раз и лежащего, он переходил к допросу следующего.

Из помещения я был выведен последним, так как скрывался в уборной. Там я уничтожил свою кандидатскую карточку. И поступил правильно. Каждого из нас тщательно обыскивали. Деньги, часы, документы изымали. В шеренге я оказался последним, самым левофланговым, поэтому слышал и видел и допросы и избияния. И... очень опасался, что меня выдадут. Всем моим товарищам было известно, что я доброволец с июля 1918 года, много участвовал в боях, состою в кандидатах в члены РКП/б/.

Не знаю, устал ли пьяный забулдыга от избияния беспомощных людей, окружённых солдатами, превышавшими нас своей численностью вдвое или втрое, или отяжелел от избытка поглощённого спиртного, но, по мере приближения его к левому флангу, численность ударов нагайкой и, видимо их сила уменьшилась. Мои товарищи от ударов уже не падали, оставались стоять. Моего соседа он ударил три раза, не задав ему вопросов. Меня он ударил один раз, и также не задал вопроса.

Окончив допрос и избияние, он подал окружавшим нас солдатам команду построиться в две шеренги напротив нашей шеренги.

Когда солдаты построились, он подал команду: "по красной сволочи, пальба взводом". По команде "взводом" обе шеренги солдат чётко вняли винтовки на изготовку и, лягнув затворами, дослали очередные патроны в патронники. Оставалось ему подать только команду "взвод-пли!". Но в это время позади взвода резко остановились легкие санки /кошёвка/, запряжённые резвой лошадей, с кучером-солдатом на козлах. Из санок выпрыгнул офицер и, называя нашего

палача по имени отчеству, стал его убеждать, что расстреливать нас в городе на тратуаре, на глазах толпы нельзя. И, почти насильно усадив пьяного рядом с собой в санки, он сказал ему: "Прикажите унтеру расстрелять их за городом". Пьяница такой приказ унтеру дал

Когда санки отъехали, я увидел в предрассветных морозных сумерках большую толпу, стоящую на противоположном тратуаре. И в это же время передо мной, как из под земли, предстала плохо одетая, маленькая, сухая старушка, державшая одной рукой, прижатой к груди, пакетик в одну шестнадцатую фунта чая. Сказав мне спокойным тоном: "отграбился, ворюга", она плюнула мне в лицо.

Построив нас в колонну по четыре, унтер повёл нас, опять окружённых солдатами, державшими винтовки наперевес, куда-то на восток, за город, расстреливать. Где-то близко к окраине города, около известных в Перми "красных казарм", он нас остановил, приказав ефрейтеру остаться за него, он добавил: "Пойду в штаб полка, узнаю, где их расстрелять".

Вскоре к нам вышел в сопровождении "нашего" унтера, офицер. Посмотрев на нас, он сказал: "Прошлой ночью, вот в этих казармах мы взяли в плен спящими три тысячи вот таких же как вы, сволочи. Всех не расстреляешь. Унтер, ведите их туда, где взяли и держите под охраной до особого распоряжения".

держали нас под строгой охраной "до особого распоряжения" трое суток без всякой пищи. Хорошо, что в квартире в кране на кухне была вода. За это время солдаты нас раздели. Отобрали у нас, военнослужащих, шинели, полушубки, валенки, суконные гимнастёрки и брюки, тёплое бельё. Оставили босиком в одном нательном белье и... в папахах. У колчаковских солдат были шапки-ушанки, пошитые из шинельного сукна, и одеть наши папахи они, видимо, не имели права.

У всех мобилизованных перетрясли содержимое чемоданов. Большинство этих наших товарищей были призваны в Красную Армию непосредственно в пунктах, где они работали связистами и находились в большинстве в отрыве от своих семей. Поэтому они принесли в своих чемоданах и праздничную и рабочую одежду и обувь. Солдаты отобрали у них только запасное чистое бельё. Поэтому с нами, раздетыми догола, наши товарищи поделились. Меня, например, наделили сильно поношенным, но тёплым суконным бушлатом на вате и с дырами на коленях брюками и старыми дырявыми валенками.

Значительно позднее, изучая военную историю, я узнал, что события в ночь с 24 на 25 октября 1918 года в городе Перми были названы "Пермской катастрофой".

Для меня эта катастрофа завершилась 31 декабря 1918 года за два-три часа до наступления Нового 1919 года я перешагнул порог надринской колчаковской турмы. Этого могло бы и не быть, если бы я пожелал вступить в колчаковскую армию.

В тюремной камере заключённых было около 40 человек. Ночью спали не только на нарах, но и под ними и на полу. Днём от подъёма до отбоя разрешалось только стоять, ходить по камере и сидеть на нарах и на полу. Ввиду этого, достаточно было кому-нибудь из нас в это время прилечь, как в камеру врвался надзиратель и бил кулаком по лицу. Двое других надзирателей в это время стояли в проёме двери с револьвером в руках.

Тяготы от большой тесноты значительно усугублялись ещё страшной духотой, стоявшей в камере. Никакой вентиляции в ней не было. Сильное зловоние издавала, всегда переполненная, параша.

В камере я встретил некоторых своих однополчан, попавших в плен под Нижним Тагилом и Кушвой. Встретил кое-кого и из своих знавших меня земляков-односельчан. В частности Пономарёва Григория Михайловича, бывшего военного матроса-балтийца. Огромной физической

силы человек, он главенствовал в камере. С распростёртыми объятиями он встретил меня. И тут же объявил всей камере, что я освобождаюсь от всяких нарядов на работы /носить дрова, мыть пол и выносить на-рашу/ и буду спать на нарах рядом с ним. Этими привилегиями я не посмел не воспользоваться.

Уголовников в камере не было. Сидели в ней, кроме нас, пленны х люди, выражавшие когда-нибудь симпатии к советской власти, или просто в этом оклеветанные.

В тюрьме меня неоднократно вызывал следователь. Он, надо от-дать ему должное, вежливо добивался от меня признания в том, что я добровольно вступил в Красную Армию и что в её рядах сражлся с оружием в руках. Я, разумеется, всё это отрицал и твёрдо стоял на том, что "красныи" меня мобилизовали, как надсмотрщика телеграфа.

Не знаю, поверил ли мне следователь, но весной меня перевели из тюрьмы в её филиал, размещавшийся в здании бывшего Шадринского ломбарда.

В огромном зале с антресолями заключённых было столько, что, как говорится, "яблоку негде упасть". Никаких нар там не было. Все спали на полу, покрытом железными плитами, а поэтому всегда было холодно. Спали, в том числе и я, на ступеньках лестницы, ведущей на антресоль.

В сравнении с тюрьмой, здесь, в ломбарде был рай. Воздуха много. Лежать можно было не только ночью, но и днём.

Через некоторое время меня сдали вооружённому револьвером в кобуре человеку в штатском платье. Это оказался страж из родного Далматово. Там он прямо с поезда сдал меня вместе с пакетом началь-нику колчаковской волостной милиции господину Караваеву, бывшему при царизме там же становым приставом.

Караваяев, рассмотрев содержимое пакета в моём присутствии мне объявил: "тебя освобождают из тюрьмы как несовершеннолетнего - под надзор властей и на поруки отца. Каждую субботу являйся ко мне. Иди теперь домой к отцу".

Не знаю, по указанию ли Караваяева для лучшего надзора надо мной, или по своей инициативе сельский староста И.А. Лавров сразу же привлек меня к исполнению обязанностей сельского писаря. Иван Алексеевич был совсем неграмотный и поэтому в помощи писаря весьма нуждался.

Работать мне с ним пришлось совсем немного. За это время я успел только два раза явиться к Караваяеву. В одно из воскресений староста вызвал меня к себе на дом и предложил мне в волостное правление, где помещалось служебное помещение сельского старосты больше не показываться и скрываться из дома "до прихода красных". По его словам, ~~какие~~ Боголюбовы, собирающиеся бежать на восток, решили меня убить. Они считают, что меня напрасно выпустили из тюрьмы, и уверены, что у красных я был комиссаром.

Я, понятно последовал совету старосты, к сожалению, с И.А. Лавровым мне больше никогда встретиться не пришлось.

Скрывался я не более десяти суток, как в Далматово пришла Красная Армия. Созданный политотделом 30 стрелковой дивизии далматовский волостной Ревком, в лице председателя Гольдштейна и члена Ревкома Звягинцева, пригласили меня работать в должности секретаря Ревкома. Я дал согласие и весь август 1919 года всемерно помогал ревкому в работе по восстановлению советской власти в волости.

В последних числах августа полномочия Ревкома истекли. И 1 сентября 1919 года я уже был в отдельном батальоне связи 29 стрелковой дивизии, действовавшей тогда восточнее г. Тюмени.

Там я был назначен на должность надсмотрщика телеграфа. В этой должности я обслуживал телефонно-телеграфные линии и строил воздушные капитальные линии связи от штадива и штабов бригад. Там же вскоре был принят вновь кандидатом в члены РКП/б/.

В конце ноября или в начале декабря 1919 года на станции Гольшманово, восточнее Ялуторовска, я заболел тифом и был эвакуирован в г. Пермь в военный госпиталь. Когда в госпитале пришёл в сознание, то ужаснулся: в палате было так холодно, что был виден пар, выходявший из моего рта. То и дело выносили из палаты умерших. Когда я, выздоравливая, начал ходить, то случайно подошёл к окну, выходявшему во двор госпиталя. В окно я увидел как санитары укладывали очередного мертвеца на целый штабель мертвецов, сложенный в сарае. Один из служителей госпиталя мне позднее объяснил, что мертвецов не успевают вывозить на кладбище. Так много от тифа умирает людей.

После ~~втиухки~~ госпиталя и отпуска по болезни, после недельного бездельничания в команде выздоравливающих в гор. Екатеринбург, я был назначен на должность зав. делопроизводством хозяйственной части отдельного Екатеринбургского территориального батальона.

После нескольких месяцев работы в этой должности /с февраля 1920 г./ военный комиссар этого батальона Ключинков предложил мне пойти учиться на командные курсы. "Там ты и будешь принят в члены партии", - сказал он мне /в батальоне не было парторганизации/. Я дал согласие и был откомандирован на учёбу.

Почти год / с середины 1920 г./ я учился в городе Саратове на 34-х пехотно-пулемётных курсах, переформированных затем в 20-ю пехотную Саратовскую школу комсостава РККА. В школе я учился ещё без малого 2 года.

Как на курсах, так и в школе мы, курсанты очень плохо питались. Был тогда ещё всем известный голод в Поволжье. И мы постоянно треть своего хлебного пайка отчисляли в пользу голодающего населения. Эти решения принимались на наших общих собраниях всегда единогласно.

Окончил я пехотную школу 1 сентября 1922 года первым, с оценкой "отлично". Это давало мне право первым выбирать вакансию из всего списка вакансий. Но воспользоваться этим правом мне не пришлось. Пять "лучших" из всех оставили в кадрах школы. Но троем из пяти, в том числе и мне, пришлось прослужить в школе только один месяц. По распоряжению из Москвы нас откомандировали в г. Ижевск на должность командиров взводов Ижевской оружейно-технической школы. В сущности в этой школе и началось моё становление как командира РККА.

Все старшие надо мной начальники, начиная с командира роты и кончая начальником этой школы, бывшим полковником-артиллеристом Павлом Николаевичем Одинцовым, были артиллеристы старой армии, признавшие советскую власть в первые же дни её существования. Люди эти были высоко культурные, вполне интеллигентные, обладающие должным тактом и уважительным отношением к своим подчинённым. Они были примером мне во всей моей дальнейшей военной службе.

Осенью 1923 года школа была передислоцирована в город Ленинград /тогда ещё Петроград/. И я был переведён на должность командира взвода в Ленинградскую военно-железнодорожную школу, вскоре переименованную в школу военных сообщений им. М. В. Фрунзе

В этой школе мне также повезло на непосредственных и прямых начальников. Особое положительное влияние на меня производил стиль работы начальника школы Ивана Петровича Сальникова. Бывший офицер царской армии, соратник и ближайший сотрудник М.В. Фрунзе в период гражданской войны, он был также образцом для меня во всех отношениях во всей моей дальнейшей военной службе.

1981-1982 годы.